**Седых Константин Фёдорович**

Седых Константин Фёдорович (псевдонимы Дед Софрон, Боль, Митька Весельчак и др.) [8(21).1.1908, пос.Поперечный Зерентуй Забайкальской обл. (ныне Читинская обл.) — 21.11.1979, Иркутск] — прозаик, поэт.

Родился в семье выходца из уральских крестьян — переселенцев на Нерчинские рудники. Предки матери — из яицких казаков, сосланных в Забайкалье за участие в пугачевском восстании.

После окончания поселковой школы Седых учился в Нерчинском заводском техническом училище (1922-24). С этого времени начал печататься как селькор в газете «Забайкальский рабочий» и «Забайкальский крестьянин».

С 1925 по 1928 Седых учился в Читинском педагогическом училище, но не окончил его. Работал в комсомольских газетах Сибири, во время конфликта на Восточно-Китайской железной дороге был корреспондентом комсомольской газеты «Набат молодежи» в Забайкальской группе Особой Дальневосточной армии.

С 1931 Седых — постоянный корреспондент газеты «Восточно-Сибирская правда».

В 1920-30-е в сибирской периодике Седых публиковал очерки, сказы, фельетоны, пьесы в стихах, юморески, сатиры на актуальные темы времени. Он автор поэм «Майская Русь» (1926), «Поэма о бригадире» (1932), «Усольским солеварам» (1932), «Детство Сухэ-Батора», «На родине» (1937) и др.

Как поэт Седых дебютировал стихотворением «Мы идем» в читинской газете «Юная рать» (1924. 28 июня). Он формировался в русле романтической поэзии 1920-х (Н.Тихонов, Э.Багрицкий, И.Уткин и др.). В поэтической биографии Седых два периода: ранний (1924-36) и зрелый (1936-48).

С 1933 по 1950 Седых издал 8 сборников: «Забайкальское: Стихи» (1933), «Сердце: Избранные стихи» (1934), «Стихи» (1935-36), «Родная степь» (1937), «Праздник весеннего сева» (1940), «Первая любовь» (1948), «Над степью солнце» (1948), «Солнечный край» (1949-50). Тематический диапазон стих. С довольно широк: прошлое родного края, сибирская каторга и ссылка, Гражданская война, коллективизация в деревне, социалистическое строительство, Великая Отечественная война. В своей эволюции Седых-лирик, воспринимавший мир в романтической дымке, двигался к восприятию будничной правды действительности. В его стихах центр тяжести с лирического монолога, восторженной эпической декларации перемещался на рассказ, раскрывающий социальную и психологическую сущность людей и событий. Поэт старался не отступать от своей поэтической декларации, сформулированной им в стихотворении «Мечта»: «Нужны слова высокого накала, / Неимоверно трудной простоты, / Чтобы, как в камне, песня высекала / Эпохи величавые черты». Сочетание возвышенного, героического и обыкновенного, будничного найдено Седых в романе «Даурия» (первоначальное название «Конные вихри») — в главном произведении писателя, посвященном судьбе забайкальского казачества. Роман был задуман в 1934 как трилогия о революционном движении в Сибири. Первые главы «Даурии», напечатанные в альманахе «Новая Сибирь» (1940), получили разноречивые отзывы критики. А.Дроздов сравнил «Даурию» со стоячим прудом, «вода которого не струится, не течет» (Литературная газета. 1940. 26 февр.). При обсуждении романа на конференции областных писателей в Москве обращалось внимание «на замечательные описания природы, знание быта, тонкую наблюдательность, чувство исторической перспективы». Наряду с этим выступающие отметили некоторую неточность и непоследовательность в развитии характеров героев (Литературная газета. 1940. 26 апр.).

В конце 1940 и начале 1941 журнала «Сибирские огни» напечатал главы 2-й части романа, но война помешала его закончить. Седых был призван в армию, служил фронтовым корреспондентом.

В 1942 в Иркутске отдельной книгой вышли первые 3 части «Даурии». Отдельные главы из 2-й книги романа впервые были напечатаны в «Сибирских огнях» в 1946 и 1947 и в альманахе «Новая Сибирь» в 1946 и получили отрицательные отзывы. Б.Соловьев писал: «Если в первой книге выразительно показано расслоение забайкальского казачества, его внутренняя борьба, то чем ближе к концу, тем более теряется сюжетная линия романа, вытесняемая хроникой, беспорядочным нагромождением материала, художественно не освоенного». Критик усматривал искажение реальной картины Гражданской войны в романе, считая, что «главным "героем"» стал Каргин со своими «метаниями» и внутренними «противоречиями», «социально-политическую природу которого автор не понял глубоко». «Даурия» объявлялась Б.Соловьевым «идейно несостоятельной, плохо продуманной и опубликованной несвоевременно» (Культура и жизнь. 1947. 10 авг.). Издательства (Иркутское и «Советский писатель») вернули рукопись автору. Дальнейшую судьбу романа решила рецензия Д.Шилова, бывшего командующего Восточно-Забайкальским фронтом. Выступивший в защиту Седых, он назвал выход в свет романа большим литературным событием и призвал переиздать роман большим тиражом. Полностью «Даурия» вышла в 1948 и выдержала более 20 переизданий.

В 1950 за роман «Даурия» Седых была присуждена Сталинская премия 2-й степени.

Главная тема «Даурии» — Гражданская война в Забайкалье. Герои романа — жители приаргунского пос.Мунгаловский, ведущие свою родословную от яицких казаков, участников пугачевского бунта, сосланных на каторжные работы в Нерчинск. С началом завоевания Амура из потомков разжалованных казаков было образовано Забайкальское казачье войско. Изображенные в «Даурии» события развертываются с 1854, когда забайкальцы разгромили высадившийся в бухте Де-Кастри английский десант, и до 1922 — времени окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке. В многоплановом повествовании несколько сюжетно-композиционных узлов — русско-японская война и революция 1905, Первая мировая война и революция 1917, Гражданская война. Углубляясь в историю забайкальского казачества, Седых на примере судьбы трех поколений трудовой казачьей семьи Улыбиных прослеживает, как под воздействием революционных событий расшатывается казавшиеся ранее незыблемыми вековые устои. В романе даны яркие описания даурской природы, колоритно воссоздан казачий быт, забавы (сцены сельскохозяйственного труда, свадьбы, охота на волков и диких коз, скачки, осада снежного городка, быт приискателей, каторга). Седых вступал здесь в своеобразное соперничество с автором «Тихого Дона».

Первое поколение в романе представлено Андреем Григорьевичем Улыбиным, первым георгиевским кавалером в Забайкальском войске, отличившимся при обороне бухты Де-Кастри. Вернувшись со службы, он женился, обзавелся хозяйством. Превыше всего в жизни он ставил службу верой и правдой «Богу, царю и отечеству», но этот традиционный закон во втором поколении нарушается. Из семьи этого казака-труженика выходят как ревностные защитники старых традиций (Северьян Улыбин), так и революционеры (Василий Улыбин, большевик, ближайший соратник С.Лазо, один из руководителей партизанского движения в Сибири). Третье поколение семьи Улыбиных представлено сыновьями Северьяна Романом и Ганькой. В развернувшейся Гражданской войне казачий автономист Северьян Улыбин пошел против брата Василия и сына Романа, красного партизана, главного героя «Даурии».

Основное внимание в «Даурии» Седых уделяет классовым противоречиям, социальной дифференциации казачества, руководящей роли партии большевиков. Идейно-политическая заданность придает изображению некоторых героев и событий плакатность и схематизм.

Семейной хронике Улыбиных противопоставлена история семьи Чепаловых, живущих по др. законам (их богатство нажито обманом и преступлениями). Это два полюса, вокруг которых группируются образы романа.

Правдиво изображен в «Даурии» поселковый атаман Елисей Каргин, рачительный хозяин, храбрый воин, хранитель казачьих традиций. В обстановке гражданской междоусобицы он, как и Григорий Мелехов, трагически мечется, пытается найти третий путь и выбирает в конце романа эмиграцию, бежит за китайскую границу, опасаясь преследования красных и семеновцев.

Критика, причислявшая Седых к шолоховской школе, упрекала его в подражательности. А.Абрамович писал: «Автор "Даурии" старается шагать в ногу с автором "Тихого Дона", не только в общем идейном плане, но и в конкретных способах осуществления своего идейного замысла» (Новая Сибирь. 1945. №16. С.178). Он отмечал общность в плетении узлов конфликтов, в описании природы, в изображении характеров и многие другие. По его мнению, Роман Улыбин напоминает Григория Мелехова, Никула Лопатин — деда Щукаря, Сергей Ильич Чепалов — Сергея Платоновича Мохова. Осваивая сходный материал, Седых, стремившийся показать социальную неоднородность забайкальского казачества, в известной степени приближался к художественной манере Шолохова, вырабатывая при этом свой взгляд на предмет художественного исследования.

Из всех художественных средств «Даурии» наиболее слабым звеном оказалась композиция, отличающаяся рыхлостью и растянутостью, чему в немалой степени способствовала перенаселенность произведения второстепенными персонажами. Слабо очерченными оказались женские персонажи эпопеи. Запоминаются только Дашутка Козулина и Лена Гордова, возлюбленные Романа Улыбина, и Алена Набережная.

Роман «Даурия» был экранизирован, переведен на многих языках народов СССР и стран социалистического лагеря.

Сюжетным продолжением «Даурии» явился роман «Отчий край» (1958), позднее переизданный под названием «Сопки в огне» (1962). Читатель в нем вновь встречается с Романом Улыбиным, превратившимся из малограмотного парня в храброго командира партизанского отряда и большевика, с его дядей Василием, руководителем революционного движения в Сибири.

В судьбе Елисея Каргина произошел крутой поворот. Познав горечь чужбины, он, по примеру др. беженцев, решает вернуться на родину. Колебания Каргина были типичны для значительной части казачества, как типично и его возвращение.

Критика наряду с художественными удачами (продуманная композиция) отмечала слабую связь героев романа друг с другом в сюжетном отношении. Они скорее просто современники одной эпохи (Павловский А. // Нева. 1958. №4. С.225-226).

Седых работал над третьей частью задуманной им трилогии, в центре которой — коллективизация. Этот замысел остался незавершенным.

Вслед за «Отчим краем» Седых переиздал свои стихи, вошедшие в сборнике «Степные маки» (1969).

**ДАУРИЯ**

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

**I**

Зеленая падь широко и прямо уходит на юг, где сливаются с ясным небом величавые гряды горных хребтов. В пади, под тенистой навесью кустов черемухи и гладкоствольных верб, — голубой поясок неширокой извилистой Драгоценки. В кипрейнике и бурьянах правого берега — черные срубы бань, замшелые плетни огородов, тусклая позолоть крытых тесом шатровых крыш. Из травянистого переулка выбегает дорога, круто срывается в речку, переходит ее и лениво ползет на заречный, дымно синеющий косогор.

На западном краю поселка, у дорожных росстаней — высокий полосатый столб. На столбе — выбеленная солнцем доска. Она указывала раньше название поселка, численность дворов и жителей. Дожди и ветры уничтожили надпись. Только жирно и косо написанная восьмерка осталась в нижнем углу доски. За столбом — сопка с белой часовенкой на макушке, с редкими кустиками дикой яблони на южном склоне. У подошвы сопки щедро рассыпаны в болотном вереске и осоках серебряные полтины мелких озер.

Пятистенный дом Улыбиных у самой речки. Он глядит полуовальными, в желтых наличниках, окнами прямо на полдень. У окна, в огороженном дранками садике, вечнозеленые елки, игластая недотрога-боярка да воткнутые в квадратную гряду колья в хрупких колечках прошлогоднего хмеля.

В войну 1854 года отличился на Дальнем Востоке казак Андрей Улыбин. Англичане пытались высадить в бухте Де-Кастри, защищаемой пешей полусотней забайкальцев, десант морской пехоты, чтобы изгнать с Амура русских. Пока с судов английской эскадры, окутанных дымом пальбы, летели гранаты и бомбы, Улыбин лежал за камнями. Но едва пальба утихла и к берегу понеслись, сверкая на солнце веслами и штыками, шлюпки десанта, он вместе с другими казаками выполз на рыжий обрыв у входа в бухту. Первым же выстрелом сбил он на передней шлюпке одетого в белый китель рослого офицера с подзорной трубой в руках. Англичане в замешательстве повернули назад. За это и был Андрей Улыбин первым из забайкальского войска награжден Георгиевским крестом и представлен к производству в урядники.

С Амура Андрей Улыбин вернулся через два года. Принес он оттуда прибитую к берегу морем подзорную трубу. Вся станица долго ходила к нему любоваться на заморскую диковинку, восхищаясь его боевой удачей. Жить бы ему дома да радоваться, но жить было нечем. Хозяйство его распорушилось, а родители умерли. Идти наниматься в работники он счел для себя зазорным. Первый в войске георгиевский кавалер и вдруг — последний человек в родной станице! Лучше уж мыкать свою недолю вдали от родных мест. И Андрей Улыбин начал кочевую жизнь. Из таежных теснин нижней Аргуни скоро выбрался он на степное приволье верховых караулов, где лето и зиму пастухи богачей-скотоводов пасли на подножном корму неисчислимые косяки лошадей и отары овец. Долго пас он в монгольской степи за рекой Керуленом гулевых лошадей знаменитого на все Забайкалье чиндантского богача Шестакова, пока не свела его судьба с бывшим командиром их сотни подъесаулом Темниковым. В тот год решил Шестаков узнать счет своему богатству. Все табуны и стада его были согнаны в начале сентября в широкую долину Онон-Борзи. Полюбоваться на это редкое зрелище прибыл из Читы с многочисленной свитой сам наказный атаман. С раннего утра до позднего вечера мимо кургана, на котором расположились под высоким белым шатром хозяин и гости, катились пестрыми тучами овцы-монголки, двигался лес рогов, с тяжелым топотом проносились гривастые кони, не знавшие узды. Померкло от пыли над степью солнце, почернела на много верст долина Онон-Борзи, словно прошел по ней яростный вешний пожар. Когда изумленный всем виденным наказный атаман принялся выражать свое восхищение, Шестаков подарил ему на радостях двадцать рыжих и двадцать вороных жеребцов, а каждого из свиты осчастливил конем на выбор.

Темников, желая сказать приятное хозяину, громогласно сообщил за ужином, что видел среди его пастухов одну войсковую знаменитость. Наказный атаман, узнав, что этой знаменитостью является первый георгиевский кавалер высочайше вверенного ему казачьего войска, пожелал увидеть Улыбина и вскользь заметил:

— Такой казак, и ходит по работникам. Прискорбно, прискорбно…

Шестаков принял замечание властного гостя на свой счет, вспыхнул и начал оправдываться:

— Не знал я, ваше превосходительство… Если вы только разрешите…

— Ничего, ничего, дорогой хозяин… Надеюсь, мы это исправим, — перебил Шестакова наказный.

Когда Улыбин появился в доме и замер навытяжку у порога, наказный изволил милостиво поговорить с ним, а потом небрежно, желая показать свою щедрость, подал ему две двадцатипятирублевые бумажки:

— Вот тебе, братец, от меня за храбрость, — и, видя растерянность Улыбина, весело добавил: — Бери, братец, не робей, рука у меня легкая.

Примеру наказного вынуждены были последовать и другие гости.

Через год Андрей Улыбин, истосковавшись в песчаных степях Керулена по тайге, переселился в поселок Мунгаловский, расположенный на грани лесов и степей. Мунгаловцы, многие из которых знали Улыбина по амурскому походу, приняли новосела радушно, как своего. Скоро женился он на красивой и статной девке из семьи казака-старовера. Человек он был работящий и к тому же крепкого на зависть здоровья. Под стать ему оказалась и молодая хозяйка. И житье у них постепенно стало налаживаться. В трудах и заботах годы текли незаметно. Не успели оглянуться они, как стали три сына женихами, а дочь невестой.

По праздникам шествовал Андрей Григорьевич в поселковую церковь, всегда в окружении сыновей. По правую руку от него шел большак Терентий, румяный, как девушка, казачина, песенник и гармонист; по левую — степенно вышагивал белокурый, слегка сутуловатый Северьян. И, замыкая шествие, ступая след в след отцу, высоко нес чубатую голову меньшак Василий, грамотей и отцовский любимец. Приятно было Андрею Григорьевичу пройти с такими молодцами по улице, людей посмотреть и себя показать. Думал он спокойно дожить до старости, но жизнь повернула по-своему.

Подоспело время провожать на действительную службу Северьяна. Обычно мунгаловцы служили в пеших батальонах, разбросанных в пограничных с Китаем станицах. Но Северьяна взяли служить во вновь формировавшийся конный Аргунский полк. На строевого коня и обмундирование пришлось поистратиться. Еле-еле хватило на справу двух быков и сусека пшеницы. Прореха в хозяйстве получилась заметная. Не успели Улыбины заштопать ее, как началась война с Китаем. В самый разгар сева был мобилизован и ходивший в запасных первой очереди Терентий. А через три недели пришло письмо Северьяна, в котором сообщал он, что Терентия убили в бою под Абагайтуевским караулом.

«… Похоронил я с товарищами родимого своего братца Терентия Андреевича, — писал Северьян, — на чужой стороне, на берегу озера Джалайнор, а крест на его могилу пришлось делать из железнодорожных шпал».

Почернел от этой вести Андрей Григорьевич. За одну ночь приметно осунулось его лицо, глубже легли морщинки у глаз. Повинным в смерти сына считал он в первую голову себя. На проводинах Терентия, подвыпив, наказывал он ему: «Либо голова в кустах, либо грудь в крестах. Нашей родовы не срами». Понял он на старости лет ту горькую истину, что легче умереть самому, чем узнать о смерти сына. Больше всего его убивало, что зарыт Терентий без гроба и панихиды, в чужой земле. «Никто его там, родимого, не попроведает, цветка на могилу не посадит», — горевал он втихомолку.

Равнодушный ко всему, с воспаленными от бессонных ночей глазами, стал просиживать он по целым дням на лавочке за оградой, крепко сцепив ладони на подставленном промеж ног суковатом посохе. Сидел и все поглядывал на заречную сторону, где вилась убегавшая за увалы дорога, по которой должен был возвратиться с чужбины Северьян. Позовут его семейные чай пить, рукой махнет, отвяжитесь, мол. Подойдет обед — и та же история. Повеселел Андрей Григорьевич, когда вышло замирение. Но не отслужил Северьян действительной, как подоспела новая война, куда посерьезней китайской. Пришлось Андрею Григорьевичу снарядить на службу и последнего сына. Осталось его хозяйство без головы. За всем приглядывать, со всем управляться пришлось им вдвоем с малолетним внуком Ромкой, первенцем Северьяна. Солоно им доставался этот догляд, а толку все равно не выходило. Известно, какая сила у стариков и сметка у ребятишек. В том году пережил Андрей Григорьевич еще одну утрату — смерть жены. Умерла она в одночасье. Села после ужина за прялку, повернулась неловко, ойкнула, и хлынула у нее из горла кровь.

Пусто и неприглядно стало в улыбинском доме. Не подымались у Андрея Григорьевича на работу руки.

Приободрился он только когда перестал воевать с японцем и вернулся домой Северьян. Истосковавшийся по работе, крепко взялся Северьян за хозяйство. Всякое дело спорилось у него в руках. И постепенно принимала улыбинская усадьба прежний вид.

Довольный Андрей Григорьевич коротал на улице досужее время да приглядывался к соседским девкам. Загодя выбирал он невесту для Василия, обещавшего через год возвратиться домой.

Службу свою Василий отбывал в Чите писарем войсковой канцелярии. До зимы 1905 года Василий аккуратно писал отцу. Но потом — как отрезало. Целых полгода напрасно ходил старик к поселковому атаману справляться о письмах и терялся в догадках, не зная, как истолковать молчание сына.

Выяснилось все, когда вернулся из Читы сослуживец Василия, орловский казак Масюков. От Масюкова и узнал Андрей Григорьевич, какая беда приключилась с сыном. Забрали Василия во время внезапного обыска в общежитии писарей. Нашли у него под тюфяком пачку революционных прокламаций. Произошло это в дни расправы над забастовщиками карательных экспедиций Ренненкампфа и Меллер-Закомельского.

Потрясла Андрея Григорьевича эта черная весть. Не гадал он, не чаял, что когда-нибудь свалится на его голову такое несчастье. Много испытаний сулило оно семье Улыбиных, много обид и наветов. Но не проклинал его старик, а жалел идущей наперекор всему родительской жалостью. Ни разу не пришла ему в голову мысль отречься от сына, хотя бы только для виду, чтобы сохранить свое положение заслуженного и уважаемого человека. Поддерживало его в этой решимости убеждение, что попал Василий в тюрьму по какой-то досадной случайности.

Но люди рассуждали иначе. «Ни с того ни с сего людей не хватают», — говорили они. Арест Василия был для них равносилен доказательству его вины. И многие посёльщики начали сторониться Улыбиных. Пример этому показал купец Чепалов, переставший отпускать им товар в кредит. Не отстал от него и священник отец Георгий. В престольный праздник разразился он в церкви проповедью о забастовщиках и смутьянах, прозрачно намекнув на одного убеленного сединою почтенного старца, не сумевшего наставить своих детей на путь служения царю и отечеству.

Незадолго перед этим Северьян Улыбин был избран одним из уполномоченных на станичный круг для выборов нового атамана. Богатые казаки потребовали тогда созвать неочередную сходку и добились на ней, чтобы Северьяна заменили другим человеком. Это был жестокий удар, нанесенный самолюбию Андрея Григорьевича. Как оплеванный ушел он со сходки, на которой принадлежали ему раньше лучшее место и первый голос. С тех пор не переступала его нога порога сборной избы. Даже на соседской завалинке, где собирались по праздникам старики, не видели его целое лето. Редко появлялась на людях и его семья, хотя далеко не все посёльщики чуждались ее.

Так прошло около года.

Однажды, когда горевал Андрей Григорьевич на лавочке у ворот, подошел к нему сосед Герасим Косых. Не успев поздороваться, сказал:

— Нынче я, дедушка, вашего Васюху видел. На каторгу его гонят.

Андрея Григорьевича так и подкинуло на лавочке.

— Да что ты говоришь?.. Где же это? — задыхаясь от внезапного сердцебиения, спросил он хриплым голосом.

Герасим снял с головы фуражку, не торопясь обмахнулся ею и только тогда начал рассказывать:

— Я ведь нынче в станицу ездил… Подъезжаю к поскотине, а с другой стороны к ней партия каторжан подходит. Свернул я с дороги, остановился пропустить их. А тут меня и окликнули: «Здравствуй, Герасим». Повернулся на голос и обмер: идет по дороге ваш Василий, кандалами названивает и, глядя на меня, посмеивается. Сразу я его узнал, хоть и отрастил он бороду. Лоб-то ведь у него приметный, крутой, и бровищами бог не обидел, на тыщу людей одни такие брови попадаются, как две метелки над глазами. Меня, конечно, по сердцу будто ножом резануло и горло слезой перехватило. Отвечаю ему: «Узнал, брательник, узнал». Тут-то на меня конвойный начальник и рявкнул: «Не смей, такой-сякой, разговаривать! Проезжай давай!»

Поехал я, а Васюха успел мне вдогонку крикнуть: «Поклон от меня нашим передай…» Так вот повстречались мы и разминулись.

Андрей Григорьевич потер кулаком глаза, тяжело вздохнул:

— Исхудал, однако, Василий?

— С лица он шибко бледный, а глаза, как у парнишки, озорные.

— Не приметил, куда их от Орловской погнали?

— Надо быть, в Кутомару. За поскотиной они с тракта направо свернули…

Через неделю Андрей Григорьевич и Северьян, попустившись сенокосом, собрались в Кутомару. Приехав туда, сразу же отправились к начальнику тюрьмы Ковалеву просить о свидании с Василием. Узнав, кто его посетители, не стал Ковалев и разговаривать с Улыбиными, а накричал на них и велел немедленно убираться из Кутомары. Вернулись они домой, не повидав Василия.

Довелось Андрею Григорьевичу свидеться с ним только на следующий год, когда на прииск Шаманку из Горного Зерентуя и Кутомары пригнали работать партию каторжан. Мунгаловцы, часто возившие в Шаманку на продажу дрова, скоро приметили своего земляка, а самые отчаянные даже ухитрялись переброситься с ним словечком.

Однажды Андрей Григорьевич повез продавать в Шаманку дрова, надеясь увидеть Василия хотя бы издали.

Каторжане работали на дне глубокого разреза у покрытого льдом искусственного озерка. Вокруг них, на рыжих отвалах, опершись на винтовки, стояли конвойные солдаты в полушубках и черных папахах. В разрезе дымно пылали на мерзлой земле костры. Время от времени подбегали к ним погреться каторжане в серых суконных шапках. Тут же надзиратель-приемщик с деревянной саженью в руках принимал от казаков дрова и отгонял прочь каторжан, подходивших слишком близко.

Андрея Григорьевича изрядно прохватило мартовским утренним холодком. Когда он договорился о цене и стал складывать дрова на отведенное приемщиком место, пальцы отказывались гнуться. Редкое полено не валилось у него из рук. Приемщик беззлобно пошутил над ним:

— Эх, старик, старик! Погнала же тебя нелегкая с дровами. Тебе на печи лежать надо, а ты торговать пустился.

— Нужда-то не свой брат, — попробовал улыбнуться Андрей Григорьевич, все время искавший глазами Василия. Надзиратель сжалобился:

— Иди, дед, к огню, погрейся, а я пока с другими займусь…

Василий, давно заприметивший отца, зорко наблюдал за ним, стараясь быть к нему поближе. Когда тот подошел к костру и, сняв рукавицы, протянул к огню растопыренные пальцы, Василий поспешил туда же. Он стал на противоположной стороне костра и, чтобы унять волнение, начал ожесточенно потирать над огнем рука об руку. Отец рванулся к нему, но он предостерегающе приложил палец к губам. С трудом отглотнув подступивший к горлу комок, негромко, чтобы не привлечь внимание ближайшего солдата, сказал:

— Ну, здравствуй, отец!

— Эх, Васюха, Васюха, — не удержался, заплакал Андрей Григорьевич. Горько было ему видеть любимого сына в арестантской одежде. — Вот как свидеться-то довелось. — И почувствовал, что земля поплыла из-под ног.

— Ничего, все будет ладно, дай срок, — донесся до него, как из тумана, напряженный голос Василия. — Как живете-то?

— Наша жизнь известная… А вот ты как? За что осудили тебя?..

Ответить Василий не успел. Солдат, заметив, что он разговаривает со стариком, вскинул на него винтовку и скомандовал:

— Уходи! Стрелять буду!

Василий бросился от костра. Медлить было нельзя. Солдат мог и выстрелить. Такие случаи бывали не раз. Андрей Григорьевич, насилу сдерживая рыдание, глядел вслед сыну и не замечал, что рукав его полушубка тлеет и дымится.

Солдат спустился с отвала, подошел к Андрею Григорьевичу.

— Ты зачем, борода, с арестантами разговариваешь? Порядка не знаешь? Позову разводящего, так достанется тебе на орехи… Да ты обалдел, что ли? У тебя весь рукав обгорел.

Андрей Григорьевич схватился в замешательстве за рукав, обжег пальцы и начал снимать полушубок. Солдат, скаля зубы, допытывался:

— Арестант тебе не родня случаем? Недаром, однако, ты рукав сжег?

— Сын он мне, — с решимостью отчаяния выпалил Андрей Григорьевич и пошел на солдата, выпятив свою квадратную нестариковскую грудь. — Стреляй меня, коли, если рука подымется!

Солдат испуганно отшатнулся, побледнел и, понизив голос, сказал:

— Ладно, папаша… Ты ничего не говорил, я ничего не видел. Только уходи скорее. Вон разводящий идет.

Андрей Григорьевич поспешил к своему возу. Увидев его сожженный рукав, приемщик расхохотался:

— Вот это погрелся. Так еще разок погреешься, без шубы домой приедешь…

Тяжелее прежнего стало у Андрея Григорьевича на сердце после такого свидания с сыном. Сам он больше не стремился взглянуть на Василия. Не хотелось растравлять себя понапрасну. Но Северьяна отправлял в Шаманку с дровами несколько раз. Только летом, когда «казна» не покупала дров прямо в разрезах, увидеть Василия можно было лишь во время переходов каторжан с работы на работу. При таких встречах нельзя было перекинуться ни единым словом. После первого снега казенные работы прекратились, и каторжан разогнали зимовать по тюрьмам. А на следующий год Василий почему-то совсем не попал в Шаманку. И Улыбины стали как-то свыкаться с мыслью, что еще долго им не видеть его. Со временем у Северьяна и его семьи более свежие заботы стали заслонять заботу о судьбе Василия. Но Андрей Григорьевич думал о нем постоянно. И от этого здоровье старика стало еще больше сдавать. Мучила его одышка, бил по ночам кашель, ныли к погоде кости. Исчезла куда-то и его молодцеватая походка, поуже стала грудь и не так-то просто становилось залезать на печь, которая теперь по-особенному полюбилась Андрею Григорьевичу. «Видно, и помру, не дождавшись сына с каторги», — горевал старик на печи, тоскующими глазами наблюдая за снующими по потолку тараканами.

**II**

Над синими силуэтами заречных хребтов, в желторудых просторах рассветного неба, лежали, похожие на гигантских рыб, сизые облака. По краям облаков играли алые блики — предвестники солнца. От Драгоценки тянул зябкий утренний ветерок.

На выкрашенное охрой, в точеных перилах крыльцо вышел, позевывая, сутулый и желтоусый Северьян Улыбин. У него побаливала в это утро пробитая японской пулей нога. Почесав волосатую грудь, повздыхав, грузно протопал он по ступенькам крыльца.

Под крытою камышом поветью, в тени, понуро стояли дремлющие Гнедой и Сивач. У омета прошлогодней соломы лежали два круторогих быка. На одутловатых бычьих боках холодно поблескивала роса. Северьян прошел в сенник. Поплевав в широкие мозолистые ладони, привычно взялся за вилы-тройчатки. Кони подняли головы, оживились. Шумно сопя и отряхиваясь, встали с соломы быки. Там, где они лежали, тоненько вился синий пар.

Пока Северьян кидал им хрусткое, пахнущее медом сено, с крыльца спустился в ограду Роман, невысокого роста, смуглый и круглолицый крепыш. Из-под выцветшей с желтым околышем старой отцовской фуражки на загорелый Романов лоб выбивалась темно-русая прядка чуба. Полуприкрытые ободками длинных и темных ресниц, полыхнули озерной синью его глаза, когда он вприщур поглядел на солнце, встающее из-за хребтов.

Одет был Роман в вышитую колосьями и васильками, много раз стиранную рубаху, туго стянутую наборным ремнем. Широкие из китайской далембы штаны были заправлены в ичиги, перевязанные пониже колен ремешками. На концах ремешков болталась пара сплюснутых, с тупыми концами пуль.

Закинув за голову руки, Роман потянулся, улыбаясь невесть чему. Северьян глядел на него и самодовольно покашливал. На мгновение ему показалось, что это стоит и потягивается не Ромка, а он сам, когда ему было девятнадцать лет.

Роман подошел к столбику коновязи, снял сыромятный недоуздок и оживленно спросил:

— Куда поедем, пахать или по дрова?

— Нет, — глухо отозвался, пряча ласковую усмешку в усах, Северьян. — Я сегодня у Софрона в кузнице сошник наварю. Договорился я с ним вчерась. А ты поедешь за Машкой. Надо ее, паря, из косяка домой пригрудить. Ей ведь вот-вот пора опростаться. Пусть это время дома поболтается, а то как бы жеребенка не решиться…

У Улыбиных в косяке купца Чепалова гуляла трехгодовалая кобыла Машка. По расчетам Северьяна, Машка скоро должна была обзавестись потомством. Жеребенка от нее нетерпеливо ждали в семье все, начиная от деда Андрея и кончая белоголовым семилетком Ганькой. Кобылу водили случать в станичную конюшню с породистым жеребцом-иноходцем. И теперь в беспокойных хозяйских мечтах Улыбины видели себя обладателями резвого иноходца, о котором с завистью и восторгом будут говорить по всей Аргуни.

— На каком коне поеду?

— На Гнедом придется. Сивач, тот чтой-то на переднюю ногу жалится. Перековать его, однако, надо… Чай пил?

Роман мотнул головой.

— Тогда сгоняй попоить да и отправляйся с Богом. Только смотри, не летай сломя голову. Увижу — семь шкур спущу…

Роман ничего не ответил.

У Драгоценки радостно пахли распустившиеся вербы, гляделся в воду никлый старюка камыш. Вровень с кустами стлался над заводями волнистый туман. На фашинном гребне мельничной плотины в подсученных выше колен штанах стоял Никула Лопатин, низкого роста, скуластый и гололицый, любивший поговорить казак. Роман поздоровался с ним.

— Чего ни свет ни заря поднялся?

— Морда у меня поставлена. Вытаскивать собрался, да вода дюже холодная. Ну, попробую…

Никула перекрестился и побрел в воду, зябко подрагивая всем телом и тоненько, по-бабьи, вскрикивая.

— А какая тебе неволя мерзнуть?

— Э, паря, не знаешь ты моей Лукерьи! Захотела рыбки — вынь да положь.

Никула ухватился за торчавший из воды березовый кол, потянул. Частая, плетенная из таловых прутьев морда вынырнула из воды, медленно кружась на месте.

Никула поднял морду, встряхнул. Гривнами сверкнула в ней рыбья мелочь. Вытащив морду на сухое, вынул из горловины ее травяную затычку. В котелок из красной меди посыпались корки хлеба и бисерные гальяны.

— Вот и уха будет, а ты говорил…

Докончить он не успел. Большой табунок чирков со свистом пронесся над ними и круто упал в камышовой старице. Невнятно всплеснулась в той стороне вода…

— Близко уселись, — по звуку определил Никула. — Надо бы мне дробовик с собой взять! — И вдруг напустился на Романа: — А ты чего стоишь, голова садовая? Я бы на твоем месте живо за ружьем сбегал да и ухлопал парочку.

Роман повернулся на одной ноге и кинулся с плотины, подхватив на бегу слетевшую с головы фуражку.

В кухне, на обитом цветной жестью красном сундуке, переобувался отец. В кути орудовала ухватами и чугунами мать, а дед Андрей с Ганькой сидели за самоваром. Увидев в дверях Романа, все переполошились. Авдотья опрокинула чугунку с водой.

— Что стряслось?

— Утки там… За ружьем я…

— Ну и бешеный, напугал всех. А заряды у тебя припасены?

— Вчера у Тимофея Косых занял.

В горнице на ветвистых рогах изюбра, прибитых к простенку, висел пистонный дробовик. Роман торопливо схватил его и, рассовав по карманам мешочки с порохом и дробью, побежал на речку.

— С той стороны скрадывай. Там место способнее, — махнул Никула рукой на заречье.

По зеленеющим кочкам добрался Роман до старицы. Не жалея штанов и рубахи, пополз на курчавый разлапистый куст черемухи. Осторожно раздвинув ветви куста, обмер: утки дремали на розовой воде в двадцати, не более, шагах. Трясущимися руками он взвел курок. Неожиданно для самого себя нажал спуск. Широко развернув перебитые крылья, четыре утки ткнулись зелеными клювами в воду, медленное течение закружило их.

В ограде Роман встретил отца, тот полюбовался на уток, похвалил:

— Молодцом, молодцом… Неужто с одного заряда своротил?

— С одного.

— Силен, значит. Мог бы при случае и с Васюхой потягаться, будь он у нас дома. Охотник он тоже завзятый был, по праздникам с утра до вечера на озерах пропадал. — Вздохнув от нахлынувших воспоминаний, Северьян сказал: — Давай я твоих уток матери отнесу, похвастаюсь. А ты седлайся да поезжай.

Роман достал из амбара казачье седло с бронзовыми инициалами отца на передней луке, смахнул с него веником мучной бус, набил в седельную подушку ветоши и стал седлать Гнедого. Когда, поигрывая витой нагайкой, выезжал из ограды, Северьян распахнул окно, навалился грудью на подоконник и хрипло крикнул:

— Помни, Ромка, о чем мой сказ был, а то лучше глаз домой не кажи!

— Ладно, — отозвался сын и огрел Гнедого нагайкой. За Драгоценку, на выгон, он поехал не сразу. Крупным аллюром, избоченясь в седле, промчался через всю Подгорную улицу. Нагайкой отбивался от рослых свирепых собак. С остервенелым лаем выбегали они на дорогу, норовили схватить Гнедого за ноги. Только проехав училище и голубую нарядную церковь на бугре у ключа, свернул в проулок.

…У Драгоценки, на берегу, босоногие девки в высоко подобранных юбках толкли в деревянных, похожих на большие рюмки ступах пшеницу, которую тут же полоскали решетами в речке и сушили на полосатых холстинах. Около телеги с поднятыми вверх оглоблями обливался молочным паром начищенный до блеска пузатый полутораведерный самовар. Высокая сгорбленная старуха в малиновом повойнике суетилась у телеги. Она выкладывала из берестяных турсуков на махровую скатерть пышные булки, узорчатые фаянсовые стаканы, блюдца и туески с молоком.

— Бог на помощь! — набравшись смелости, поприветствовал девок Роман, небрежно похлопывая нагайкой по голенищу. Девки дружно, наперебой защебетали:

— Заезжай к нам, чаем попотчуем.

— Некогда, а то бы с удовольствием.

— Да ты постой, постой, — бежала к нему Дашутка Козулина, румяная, туго сбитая деваха с карими насмешливыми глазами. Она придерживала на бегу длинную каштановую косу, переброшенную на грудь, и смеялась, показывая влажно блестевшие на солнце зубы.

Роман натянул поводья, остановился.

— Что за дело у тебя ко мне завелось? — скрывая внезапно охватившую его радость, с напускным безразличием спросил Роман, давно отличавший Дашутку из всех поселковых девчат.

— Да уж завелось. Слезай с коня, на ухо скажу… — сыпала торопливым говорком Дашутка, и в больших глазах ее посверкивали озорные искорки.

— Не глухой, с коня услышу. Сказывай, а то мне ехать надо.

— Да ты постой, постой.

— Вот еще, стану я стоять, — недовольно говорил Роман, а сам потуже натягивал поводья, не собираясь уезжать.

Дашутка схватила Гнедого за поводья, повисла на них. «Вот зараза», — восхищенно глядел на нее сразу вспотевший Роман и не заметил, как с другой стороны подкралась к нему с ведром воды Агапка Лопатина. Ловко размахнувшись, окатила она Романа с головы до ног. Гнедой, словно попала ему под седло колючка, яростно взмыл на дыбы и понес. Роман едва удержался в седле.

— Ах, так вот вы как? — разобиделся он на девок. — Теперь я с вами разделаюсь. А с тобой, Дашка, с первой.

Он низко пригнулся к луке, пронзительно гикнул и в намет полетел на девок. Они с визгом и хохотом бросились в кусты. Самые отчаянные отбивались от него хворостинами и пестами, плескали в морду Гнедому воду. Но, минуя их, Роман гнался за Дашуткой. Она бежала к заброшенной мельнице, и коса ее билась по ветру. У самого мельничного колеса он догнал ее, схватил за руку. Дашутка, тяжело дыша, обернулась. Он с силой рванул ее к себе, так что треснула на ней сарпинковая кофта, нагнулся, обхватил поперек и кинул в свое седло.

— Попалась, голуба! Теперь я тебя купать буду.

Он двинул Гнедого ичигом в бок, с крутого берега съехал в воду. Дашутка, всхлипывая, закрывая платком глаза, билась в его руках. И нельзя было понять — плачет она или смеется. Роман, зачерпнув в ладонь воды, вылил ее Дашутке на шею. Она ахнула и стала просить:

— Отпусти, Ромка. С тобой пошутили, а ты взаправду. Шуток не понимаешь. — Она рванулась и поняла, что не вырваться. — Да отпусти же, леший! Кому говорят?

— Не отпущу… Перепугалась небось? — заглядывал он ей в глаза и, забыв про обиду, довольно посмеивался.

— Чуть руку не оторвал мне, — жаловалась, прижимаясь к нему, Дашутка. — Да что же ты меня держишь? Сейчас же отпусти!..

Роману хотелось ее поцеловать, но, испугавшись своего желания, он поторопился выехать на берег и спустил Дашутку на землю.

Не оглядываясь, поехал он в бугор. Выжимая на берегу замоченную в речке юбку, Дашутка бросила вдогонку:

— Эх, Ромка, Ромка, худой из тебя казак!

— Ладно, в другой раз не попадайся.

— Не попадусь. А попадусь, так вырваться — раз плюнуть.

— Посмотрим, — прыгнув с седла, ответил Ромка. Пока подтягивал чуть ослабевшие подпруги, слышал, как потешались девки над Дашуткой.

— За что это он тебя пожалел, не выкупал?

— Откупилась, поди, чем-то?

— И как он ее, такую колоду, на седло вскинул!

Дашутка со смехом отшучивалась:

— Как же, стану я откупаться. Не на такую напал.

— А пошто не вырывалась?

— Вырвешься от такого, как же. Он мне все кости чуть не переломал…

— Будет вам, халды!.. Раскудахтались. Работа-то ведь стоит, — оборвал девичью веселую перепалку скрипучий голос. И сразу же тупо и мерно застучали песты, зашумела в решетах пшеница.

За излуками Драгоценки начинался выгон — тысячи десятин целинного, отроду не паханного простора. Многоверстная поскотина вилась по мыскам и увалам, охватывая замкнутым кольцом зеленое приволье, где отгуливались казачьи стада. Белесый ковыль да синий, похожий на озера, покрытые рябью, острец застилали бугры и лощины.

Роман пустил Гнедого в намет. Он любил скакать в степную необозримую ширь. Смутно видимую вдали поскотину сразу вообразил он идущей в атаку пехотной цепью, а березы — зелеными знаменами, развернутыми над ней. Вместе со скачкой к нему всегда приходили мечты, упоительная игра в иную, ныдуманную жизнь, где любое дерево и камень ширились, росли и могли превращаться во что угодно. При всяком удобном случае погружался он с радостью в беспредельный мир своей выдумки. Никогда ему не было скучно наедине с самим собой. Сбивая нагайкой дудки седого метельника, упрекал он себя: «Зря я оробел. Надо было ее поцеловать. И как я раньше не замечал, что она такая отчаянная». Южный ветер бил ему прямо в лицо, степь пьянила запахом молодой богородской травы, и запел он старую казачью песню:

Скакал казак через долину,  
Кольцо блестело на руке,  
Кольцо от той, кого покинул  
Для службы царской вдалеке.  
  
  
Кольцо красотка подарила,  
Когда казак пошел в поход,  
Она дарила, говорила:  
— Твоею буду через год.

Косяк он нашел не скоро. Солнце стояло уже прямо над головой, когда меж клыковидных утесов, в распадке, у ручья увидел он около тридцати разномастных, монгольской, низкорослой породы, кобылиц. Вислоухий и белоногий чепаловский жеребец Беркут стоял на пригорке, разглядывая подъезжающего человека.

Роман выехал на пригорок. Беркут тупо стукнул нековаными копытами, повернулся, пошатываясь, побрел к косяку. Вид у него был усталый, словно сделали в эту ночь на нем непосильный пробег. «С чего он такой вялый? — подумал Роман. — Захворал, никак». Он догнал жеребца, объехал вокруг и заметил на правом его предплечье, вершка на два пониже шеи, косую рваную рану. Когда Беркут шагал, рана раздвигалась, показывая матово-белый комок плечевого мускула. «Да его, кажись, волк хватил. Вот незадача. Все ли у него в косяке ладно?» Роман спустился с пригорка, внимательно разглядывая косяк. Машки не увидел. «Где это она? В кустах разве?» Он направил коня в тальник на берегу ручья, едва опушенный длинной и узкой листвой. Кобылицы там не было.

— Машка! — громко позвал он и ждал ее ответного ржания. Но только короткое, равнодушное эхо повторило его голос в знойных голых сопках. Потревоженный косяк перебрался на противоположный берег и медленно стал удаляться на залежи к сопкам. И тут только страшная догадка защемила Романове сердце. Из рук его выпали поводья. Он вдруг почувствовал, что нестерпимо хочет пить. Долго искал удобного места, чтобы напиться. И пока искал, по-непривычному напряженно размышлял: «Разве к другому какому косяку отшатнулась? Экое горе! Дождались, выходит, жеребенка. И какой черт дернул тятю спустить Машку под Беркута? Теперь вот ищи-свищи…»

Отыскав подходящее место, Роман тяжело, по-стариковски слез с Гнедого. Нагнулся, зачерпнул фуражкой воды. Пил много и долго. Потом сердито крикнул на тянувшегося к траве Гнедого:

— Ну ты, ирод, пошали у меня!

От ручья поскакал вверх по распадку туда, где стоял у подножья крутого хребта зубчатый Услонский колок, черный и мрачный, заросший даурской березой, пахучими лиственницами, ольхой. По ночам из колка доносился заунывный волчий вой, который часто слышал Роман, возвращаясь с игрищ. Сейчас он прошел бы этот колок вдоль и поперек, но за версту объехал бы ночью. И не волков он боялся, а старинной заброшенной шахты, заваленной камнями и лесом. В той шахте были похоронены казаками в стародавнее время обитатели тунгусского стойбища, вымершего от чумы.

Перевалив через каменистый взлобок, еще издали увидел Роман на закрайке колка темный круг. Круг ярко выделялся на плюшевой, залитой солнцем зелени. Был величиной он с небольшой гуменный ток. Посредине него что-то белело. Подъехал ближе и понял: белел ободранный конский остов. На нем дремали жирные черные коршуны и пузатые вороны. Завидев человека, птицы нехотя взлетели. Коршуны стали плавно забирать в высоту, к опаленным кремневым утесам. Вороны, глухо каркая, низко и медленно полетели в колок, где чернели на лиственницах шапки гнезд. По клочкам золотистой рыжей шерсти, по уродливому копыту задней ноги узнал Роман, чьи это кости. Он тоскливо оглядел пламенеющие на солнце бесплодные гребни сопок, пасмурный колок, словно искал сочувствия. Но сопки были равнодушны к его горю, а колок враждебно и глухо шумел. Вороны карканьем дразнили Романа. Уши Гнедого стали торчком, он потянул ноздрями воздух, понюхал выбитую траву и, тревожно всхрапнув, шарахнулся прочь. Роман от неожиданности чуть было не вылетел из седла. Гнедой не успокоился, пока не отъехали подальше. Но и там он все время поднимал уши, вздрагивал и рыл копытом песок, не переставая всхрапывать. Роман ласково трепал его потную шею и, совсем по‑отцовски, горестно сетовал: «Где тонко, там и рвется. У богачей десятки кобыл гуляют в степи, и ничего им не делается. А тут одну-единственную волки съели. Такие уж мы, Улыбины, злосчастные. Нет нам ни в чем удачи. В прошлом году пшеницу градом выбило, корова в болоте утонула, а нынче вот Машки решились».

…Домой Роман вернулся на закате. Любил он, подъезжая к поселку в солнечный ясный вечер, разглядывать его черемуховые сады, жарко сияющие маковки церковных крестов, крытые цинком и тесом крыши, прямые и широкие улицы. Мычание телят и щебет ласточек, запах дымка и дегтя — все радовало его на родной земле. Но сейчас он не мог взглянуть на нее по-прежнему, доверчивыми глазами. Он смутно сознавал, что чем-то жестоко обманула его жизнь в этот день. Неприветливо здороваясь по дороге с возвращающимися с пашен посёльщиками, подъехал он к своей ограде, в которой верхом на талом прутике встретил его босоногий Ганька.

— Где же, братка, Машка? Пошто ты ее не пригнал? Целый день проездил и не пригнал. Тятя говорит: «Я ему дам…»

— Нет у нас теперь Машки. Съели Машку волки.

Ганька бросил таловый прутик, всхлипнул и кинулся в дом.

И не успел Роман еще сойти с коня, как на крыльцо выбежали Северьян и Авдотья с подойником в руках. За ними ковылял Андрей Григорьевич, опираясь на суковатый костыль. Выслушав Романа, старик замахнулся костылем на Северьяна, перемогая одышку, закричал:

— Я тебе говорил… Я тебе сколько раз говорил, что не надо жеребую кобылу в косяк пускать. Так нет, по-своему сделал. Выпорол бы я тебя, желтоусого, кабы силы моей хватило!

— Ладно, не кричи ты, ради Бога.

— Что?.. Да как ты смеешь с отцом так разговаривать? Не ворочай рожу на сторону, повернись ко мне…

Северьян нехотя повернулся к нему, заметно выпрямившись. Дожив до седых волос, он все еще потрухивал Андрея Григорьевича. Но сегодня не удержался, сказал:

— Тут и без тебя муторно.

— То-то и есть, что муторно, — закипятился пуще прежнего Андрей Григорьевич, — такой кобылы решиться не шутка. Своевольничать не надо. Надо слушать, что отец толкует. Отец хоть и старик, да не дурак… Да какого лешего с тобой говорить! Хоть и не любо мне к атаману идти, а пойду. Облаву на волков надобно. Расплодилось их видимо-невидимо. Нынче нашу кобылу порвали, а завтра еще чью-нибудь.

Андрей Григорьевич тяжело затопал по ступенькам крыльца, прерывисто, со свистом вздыхая. Авдотья крикнула ему вдогонку:

— Дедушка, ты бы хоть папаху надел. Куда тебя, такого косматого, понесло?

— Пошла ты с папахой, — огрызнулся Андрей Григорьевич от ворот.

Авдотья принялась причитать:

— Ой, горюшко! Да что же такое деется? И что за напасти на нашу голову?

— Замолчи! — прикрикнул на нее Северьян, а сам отвернулся к стене. Пряча от Авдотьи лицо, он громко и часто сморкался.

**IV**

Вечером, накануне праздника Николы вешнего, съехались с пашен казаки. Везде дымились бани, в каждой ограде отдыхали у коновязей потные кони. Распряженные быки, никем не провожаемые, весело помахивая хвостами, тянулись из улиц на выгон. В улицах пахло распаренными вениками, молодой черемуховой листвой и вечерним варевом.

В сумерках застучали в оконные рамы десятники:

— Хозяин дома? — спрашивали они под каждым окном.

— Дома, — отзывались хозяева на привычный оклик.

— Завтра на облаву идти. Сбор возле школы.

Назавтра, когда томилось еще за хребтами солнце, у решетчатой школьной ограды разноголосо гудела большая толпа. Со всех концов в одиночку и группами подходили казаки. Собралось человек триста, вооруженных кто берданкой, кто шомпольным дробовиком, а кто просто трещоткой. После всех подошел с братом и соседями поселковый атаман Елисей Картин, широкоплечий и широколицый усач с упругой походкой. Поздоровался. Опираясь на берданку, спросил:

— Ну, господа старики, откуда, по-вашему, начинать будем? Решайте. Да, пожалуй, пора и трогаться.

— С Успенского колка зачнем, — откликнулся первым низовский казак Петрован Тонких.

— Как другие думают?

— В прошлом году с Услона начинали. Стало быть, нынче с Киршихи надо! — разом крикнули справные верховские казаки.

— С Киршихи так с Киршихи, — согласился Каргин, — давайте с Богом трогаться.

Роман на облаву шел с дробовиком. Берданку взял себе Северьян, который, хотя и жаловался на свою ногу, но на облаву заторопился раньше всех. У Драгоценки Роман догнал группу холостых казаков, среди которых шагал с дробовиком за плечами Никула Лопатин. Он размахивал руками и говорил Романову дружку Данилке Мирсанову:

— Да ежели ты хочешь знать, так я мой дробовик ни на какую централку не променяю, будь за нее хоть двести целковых плачено. Дело не в цене. Дело, голова садовая, в том, какой бой у ружья. А у моего бой надлежащий. Ежели добрый заряд вбухать, так медведя нипочем уложу. Был у меня в прошлом году случай…

— Когда в амбар-то не попал? — спросил ехидно Данилка.

Никула взъелся:

— Это еще что за амбар? Чего ты выдумываешь? Ты, паря, наговоришь, — оборвал он Данилку и попросил у парней: — Дали бы вы мне, ребята, лучше закурить.

Не меньше пяти кисетов были дружелюбно предложены Никуле. Никула повеселел. Он извлек из‑за пазухи сделанную из корневища даурской березы вместительную трубку и стал набивать ее из приглянувшегося больше других кисета.

— Вот трубка у тебя любо-дорого взглянуть. Где ты ее добыл? — не без умысла спросил Роман.

— Не в лавке же. Сам выдолбил. Я ведь на все руки мастак. Чуть не из целого дерева долбил. Месяц старался, зато и вкус табаку в этой трубке отменный, приятственный. В такой трубке зеленуха турецким табаком пахнет. Привык, паря, к ней, беда как привык. Другую мне лучше не давай.

— Да ну?

— Вот тебе и ну. Врать не стану, не так, как твоего папаши сынок. Я ее по целым дням из зубов не выпускаю. Малому дитю соска, а мне трубка. Бывает, что спать с ней ложусь. А ежели в лес за дровами ехать, то скорей топор дома забуду, а трубку — не думай лучше. Поехал я недавно за сушняком. Верст восемь отъехал. Вдруг мне как приспичит — захотел курить, и шабаш. Сунул руку за пазуху, а ее, голубушки, там нет. Ну, думаю, по ошибке в карман сунул. Шарю в одном кармане, в другом — не находится. Потерял, думаю. Повернул Савраску и полетел сломя голову искать ее. Уж так я ее искал по дороге, что иголку малюсенькую и ту бы нашел. И так, понимаешь, огорчился, словно Лукерья меня вместо блинов ухватом угостила…

— Разве она тебя и ухватом потчует?

— Не только ухватом, случается — и мутовкой голову чешет. Может, я от такой бабы и лысым раньше времени сделался. Ведь она такая у меня грозовитая, что и не пикни. Такую заразу, как моя любезная, мало где найдешь.

— А с трубкой чем кончилось?

— Очень просто, голова садовая. Ищу я ее, а сам себя, как самого последнего человека, ругаю. Вдруг мой Савраска взял да и остановился. Гаркнул я на него в сердцах: «А ну ты, кол тебе в спину». А трубка-то и вывалилась у меня из зубов. Схватил я ее, голубушку, в руки, поднял голову и вижу: стоит конь у моей ограды. Он бы, стервец, и в ограду меня завез, да Лукерья ворота закрыла. А Савраска хоть и всем взял, но ворота открывать не умеет…

Громкий и дружный хохот покрыл слова Никулы. Шедшие впереди казаки остановились, стали поджидать окруженного парнями Никулу, который с довольным видом попыхивал трубкой. Иннокентий Кустов, похожий на бурята, богач из верховских, спросил Никулу:

— Чем это ты их так насмешил? Они ведь все животы надорвут.

— А что я с ними поделаю, ежели их хлебом не корми, а дай похохотать… А ты знаешь, паря Иннокентий, кого я недавно в Шаманке встретил?

— Кого?

— Алеху Соколова. Я, говорит, не я буду, ежели не подпущу этому Иннокентию, это тебе-то, значит, красного петуха под крышу. Говорит он мне это, а рот у него дергается, как у собаки на муху, и руки все время трясутся. Дюже он на тебя злобится.

Иннокентия всего передернуло, маленькие плутоватые глазки его испуганно забегали по сторонам. Алексей Соколов жил раньше у него в работниках. Иннокентий не платил ему денег, обещая выдать за него свою сестру Ирину и дать за ней хорошее приданое. Соколов поверил и четыре года гнул шею на Иннокентия, который при всяком случае хвалил его и звал Алексеем Ивановичем. Благосклонно поглядывала на Соколова и сестра Иннокентия. Но осенью прошлого года за нее посватался богатый жених из Булдуруйского караула. Соколов жил в то время со скотом на кустовской заимке. Узнав, что Ирина просватана, он прискакал ночью в поселок с намерением застрелить Иннокентия. Но Иннокентий вовремя заметил его и приготовился к встрече. Едва Соколов переступил порог дома, как тот схватил его за горло, связал с помощью Ирины и сына Петьки и отвез к атаману. Атаман пригрозил Соколову судом и отправил на высидку в станичную каталажку. Вернувшись из каталажки, Соколов пришел к Иннокентию за расчетом. Иннокентий кинул ему за долгие годы работы четвертной билет и велел убираться на все четыре стороны. Соколов попробовал найти на него суд и управу, но не нашел. Везде его встречали откровенным смехом, в лицо обзывали дураком и советовали быть вперед умнее. Потрясенный такой несправедливостью, Соколов начал пить и несколько раз нападал на Иннокентия с ножом. Но всегда жестоко расплачивался за это собственными боками. Многочисленные родственники Кустова избивали его до полусмерти. На прииске Шаманка у Соколова был брат приискатель. Он приехал в Мунгаловский и увез Соколова к себе. Потом слышали в поселке, что Соколов из Шаманки куда-то ушел. Не было о нем ничего слышно месяцев семь. А вот теперь, оказывается, он живет снова в Шаманке. Было отчего покраснеть и растеряться Иннокентию, неожиданно узнавшему об этом от Никулы. Придя в себя, Иннокентий усмехнулся:

— Вон оно что… Спасибо, что предупредил. Пусть он только глаза сюда покажет, я ему живо шею сверну.

— Я ему и то говорил, что с тобой шутки плохи. Да ведь он тронутый, ему любая глубь по колено.

— Увидишь его еще раз — скажи: ежели поджог сделает, удавлю на первом столбе, — зло сверкнув заплывшими узенькими глазками, выдавил Иннокентий и поспешил убраться от Никулы.

— Видели такого гуся? — обратился к парням Никула, кивнув головой на удалявшегося Иннокентия.

— И дурак Алеха будет, если не сведет с ним счеты, — отозвался Роман, ломая в руках таловую ветку. — Таких сволочей, как Кеха, давно проучить надо. Издевался над человеком, издевался, да еще и правым себя считает. Попадись бы он со своими проделками на другого, давно бы им здесь не воняло.

— У этих Кустовых вся родова такая паршивая. Все на одну колодку. Не люди, а чистые волки.

— Ладно, ребята, ладно… Не нам их судить. Не будем в чужой монастырь со своим уставом соваться, — поспешил переменить разговор Никула.

Немного спустя отозвал он в сторону Романа и принялся вполголоса выговаривать ему:

— Зря ты, Ромка, при парнях Кеху сволочью обозвал. На вас богачи из-за Василия давно по-волчьи глядят. Подвернись случай, сожрут они вас и не подавятся. Чтобы не подвести отца, помалкивай лучше, на рожон не лезь. Это я тебе по-соседски говорю.

Роман выслушал его и нахмурился. Трудно было ему примириться с мыслью, что грехи дяди Василия — его грехи. Огорченный, отстал от Никулы и шел в стороне от всех до самого леса.

**V Охота**

Киршихинский сивер[**[1]**](http://www.erlib.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%85/%D0%94%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F/2/sedyh_konstantin_dauriya__63.html#FbAutId_1) полыхал фиолетовым пламенем цветущего багульника. Купы кедров и лиственниц поднимались над этим недвижимым морем огня, как клубы зеленого дыма. И солнечный воздух переливался над ними тонким сладостным ароматом багульника, смолистой горечью молодой хвои. Казаки остановились в кустарнике. Покурили, посоветовались. Разбились на стрелков и загонщиков. Загонщики остались на месте, а стрелки — в большинстве пожилые казаки, среди которых был и Северьян Улыбин, — пошли вперед. На дальнем закрайке, у подошв отсвечивающих бронзой обрывистых сопок, был скотный могильник. Над падалью вечно кружились, каркали и шипели хищные птицы, трусливо расступаясь, когда из поднебесья, сложив саженные крылья, падал камнем красавец орел.

Стрелки залегли и засели под самым могильником, за огромными, в узорчатых лишайниках, валунами. С берданкой наготове Северьян удобно прилег на теплой выбоине валуна. Прилег и услышал: в сивере исступленно токовали тетерева. Когда тетерева умолкали, было слышно, как где-то высоко‑высоко звенит колокольчиком жаворонок, а в орешниках негромко ликуют желтогрудые песенники-клесты да мерно постукивает красноголовый дятел.

Загонщики шли медленно. Сначала в той стороне бухнул чей-то выстрел, мячик молочного дыма вспух над кустами. И вот началось. Загалдели, заухали, ударили трещотками. Стрелки застыли в нетерпеливом, подмывающем ожидании. Но ждать нужно было долго. Загонщики должны были пройти чащами не меньше версты. И Северьян решил до времени не томить себя. Он приподнялся с выбоины и осторожно повернулся направо. Шагах в сорока от него присел за валуном Платон Волокитин, первый силач во всей станице. Зорко вглядывался Платон в едва покачиваемые ветерком осыпанные цветом кусты багульника. «Если на такого чертяку волк напорется — не уйдет», — с завистью решил Северьян… Невдалеке чуть слышно хрустнул валежник. Северьян притаился, задержал дыхание. По мелкому редколесью прямо на него бежал ленивой трусцой громадный светло-серый волк. Он часто останавливался, чуть поводя небольшими, косо поставленными ушами. Втягивая воздух в подвижные влажные ноздри, зверь вслушивался в людской галдеж. «Умный, стервец», — восхитился Северьян и направил берданку в широкий, полого срезанный лоб волка.

Волк потрусил снова. На опушке остановился так близко, что Северьян отчетливо видел сивые волоски подусников на волчьей морде. В редколесье появились еще два волка. Эти были гораздо мельче, с шерстью желтоватого цвета.

Северьян так и прирос к валуну. Чуть покачиваясь, нащупал надежный упор для локтей, замер. В эти секунды двигались только его жилистые ширококостные руки. Мушка качнулась вверх, вниз и остановилась на тонкой черте звериных бровей. Палец плавно нажал спусковой крючок. Северьян увидел, как подпрыгнул волк, повернулся с невероятной быстротой и кинулся саженными прыжками влево на голый красно-бурый откос. За ним, едва касаясь земли, неслись два других.

Сидевший в той стороне Каргин торопливо бил по ним с руки. Северьян насчитал три выстрела. Волки уходили, все дальше и дальше, и он остервенело выругался:

— Промазал, черт!

И вдруг обрадованно вздрогнул: большой волк заметно сбавил скорость. Задние догнали и стороной обошли его. Пошатываясь, волк сделал последний прыжок и ткнулся мордой в желтую круговину прошлогоднего ковыля. Северьян, прихрамывая, побежал к зверю, на ходу заряжая берданку. К нему присоединился Каргин.

— Ты, что ли, его осадил? — спросил Северьян Каргина и боялся, что тот ответит утвердительно.

— Нет, я не в него стрелял.

— Тогда, значит, я влепил…

Пуля занизила и попала волку в грудь. Когда подошел Северьян, волк уже издыхал. В страшной, в последней ярости уставленные на человека зрачки его глаз мутились, стекленели. Все более тусклыми делались в них солнечные зайчики. Сильные когтистые лапы зверя судорожно загребали землю. По шелковистому ворсу подгрудника алым червячком сползала, запекаясь, кровь…

С облавы возвращались далеко за полдень. На гибких и длинных жердях, просунутых меж связанных пряжками лап, несли четырех волков. Волка, убитого Северьяном, несли Роман и Данилка Мирсанов, часто вытирая обильно выступавший на лицах пот.

На берегу Драгоценки сделали привал. Пили пригоршнями воду, умывались. Прямо над ними, под шаровыми, снежно-белыми облаками, реяли, изредка перекликаясь, журавли-красавки.

Неудачно стрелявший во время облавы отец Дашутки Епифан Козулин, рано поседевший казак, прозванный за это Епифаном Серебряным, взял и выпалил в журавлей. Пуля не потревожила их.

— Не донесло, Гурьяныч, — посочувствовал Епифану Никула. — Шибко они высоко. Тут из трехлинейки бить надо, а из берданки — только патроны зря переводить.

— А вот посмотрим, — ответил Епифан и выстрелил снова. Но и вторая пуля не потревожила гордых, звонко курлыкающих птиц.

— Разве мне попробовать? — спросил у Северьяна Каргин. Отмахиваясь веткой черемухи от мошкары, Северьян улыбнулся:

— Не жалко патрона, так пробуй. Их ведь в такой вышине из пушки не достанешь.

— Все-таки попробую.

Каргин встал на колено, хищно прищурился, вскидывая берданку. Хлопнул выстрел.

— Тоже за молоком пустил, хоть и атаман, — съязвил Епифан. — Видно, не нам их стрелять.

— Платон, попробуй ты. На тебя вся надежда. Если уж и ты не попадешь, тогда не казаки мы, а бабы, — сказал Каргин.

Платон сначала отнекивался, но потом согласился. Но и его выстрел был неудачным. Роман, которому тоже хотелось выстрелить в журавлей, не вытерпел, подошел к отцу, посмеиваясь сказал:

— Тятя, дай мне стрелить.

— Ишь ты чего захотел, — рассмеялся Северьян. — Ну-ну, бабахни. Пускай еще один патрон пропадет.

Роман взял у отца берданку. Сняв с головы фуражку, неловко опустился на колено и застыл, напряженно целясь.

— Народ, — закричал Никула, — посторонись, кому куда любо. Этот призовый стрелок, заместо журавля, в момент ухлопает.

Роман выстрелил. Следивший за журавлями Никула завел с издевкой:

— Целился в кучу, а попал в тучу, — и, не докончив, изумленно ахнул: — Ай да Ромка, влепил-таки.

Все увидели, как один из журавлей внезапно остановился на плавном кругу своем, покачнулся и, как сносимый ветром, стал косо и медленно падать. Упал он на широкой, приречной релке, около высыхающей озерины. У мельничной плотины играли казачата. Завидев падающего журавля, они наперегонки пустились к нему. Раненный в крыло журавль затаился в густом тростнике. Его нашли, цепко ухватили за двухаршинные крылья и повели. Шел он танцующим, легким шагом. И когда его неосторожно дергали за раненое крыло, журавль печально и громко вскрикивал, пытаясь клювом достать руки казачат.

— Ну, удивил твой Ромка народ, — сказал Северьяну Платон, — а ведь ружья правильно держать не умеет.

— Бывает, — согласился Северьян, но Платон не унимался. Его самолюбие было задето.

— Он в корову за десять шагов не попадет, а тут птицу вон на какой высоте срезал. Одно слово — фарт.

Разобиженный словами Платона, Роман сказал ему, посмеиваясь:

— Хочешь, я твою фуражку на лету дыроватой сделаю?

— Сопли сперва вытри, а потом хвастай.

— Платон, а ведь у тебя очко сжало, сознайся. Фуражки тебе жалко, голова садовая, — подзудил Никула.

— Жалко? Есть чего жалеть. Да он все равно не попадет.

С этими словами он снял с головы фуражку, внутри которой на голубом сатине подкладки желтел клеенчатый червонный туз — фабричная марка, отошел шагов на тридцать. Заметно волнуясь, метнул фуражку вверх. Роман, страшась промаха, молниеносно повел берданкою и плавно спустил курок.

Платон подбежал к фуражке, поднял ее и удрученно крякнул.

— Потрафил-таки, подлец. Испортил фуражку. А я ведь ее только позавчера купил. Задаст мне теперь жару моя баба. Уж она меня попилит, прямо хоть домой не показывайся. Сукин ты сын, Ромка!

— Не надо было бросать.

— Затюкали ведь… Поневоле бросишь.

Хохотавший до слез над горем Платона Елисей Каргин подозвал Романа, похвалил его и небрежно кинул ему трехрублевую бумажку:

— Возьми от меня на поминки по Платоновой фуражке.

Роман поблагодарил Каргина, но деньги принять отказался.

Никула не вытерпел и толкнул его в бок:

— Бери! Три рубля на сору не подымешь. Я тебе помогу их истратить. Вина купим, конфет.

Роман усмехнулся и ответил:

— У меня от конфет зубы болят.

**IX Свадьба**

Знатную свадьбу устроил своему любимчику Алешке Сергей Ильич. Гулять на свадьбе пригласил он не только свою родню, но и всех родственников невесты. В четырнадцать пар и троек снаряжен был разукрашенный лентами свадебный поезд. Венчаться Чепаловы поехали в Горный Зерентуй, так как мунгаловский поп хворал и давно не бывал в церкви. Тусклое зимнее солнце стояло уже прямо над падью, когда проводили поезд, многочисленные колокольцы которого долго доносились еще с тракта.

Из-под венцов свадьбу ожидали поздно вечером. К этому времени в раскрытой настежь чепаловской ограде нельзя было протолкнуться от народа, собравшегося поглазеть на молодых. Ограду освещали цветные китайские фонари, привязанные к длинным жердям, обвитым полосками кумача. По обычаю полагалось, когда молодые выйдут из кошевы и направятся в дом, щедро бросать в них овес и пшеницу, чтобы жили они, не проедая хлеба, вдоволь теша себя пивом и брагой. Сергей Ильич не поскупился и тут. Пять мешков, набитых под вязки отборным зерном, вынесли работники из амбаров в ограду. Парни, ребятишки и девки налетели на мешки, как стая прожорливых косачей, и принялись набивать рукавицы, запазухи и карманы, готовясь к веселой потехе. То и дело в ограде вспыхивала ложная тревога. Стоило только кому-нибудь крикнуть «едет!», как толпа начинала шуметь и переталкиваться с места на место, словно зыбь, поднятая на озере беспорядочно дующим ветром.

Но свадьба была еще далеко. Из Горного Зерентуя тронулась она только в сумерки. У Чингизова кургана, от которого оставалось до Мунгаловского восемь верст, поезд остановился на короткий отдых. Оттуда подгулявшие чванливые поезжане, не жалея коней, понеслись вперегонки. Каждому хотелось первым влететь в чепаловскую ограду, чтобы знал потом поселок, чьи кони лучше всех. От кургана вырвался далеко вперед на тройке своих каурых тысяцкий Платон Волокитин, гикая и размахивая бичом. Но скоро стали его настигать вороные Елисея Каргина, за которыми вплотную держалась рыжая тройка Чепаловых, закидывая снегом из-под копыт спины Каргина и Петьки Кустова. На переезде через Драгоценку Каргин обогнал Платона и не удержался, крикнул ему:

— До свиданья, тысяцкий!

Задетый за живое, Платон поднялся в кошеве во весь свой рост и, захлебываясь от встречного ветра, яростно крутя бичом над головой, заорал во всю глотку:

— Врешь, не уйдешь!..

На крутом повороте от резкого толчка кошева накренилась, зачерпнула кучу снега, а Платон, описав в воздухе замысловатую фигуру, ткнулся головой в сугроб, но вожжей из рук не выпустил. Пока искал он в сугробе папаху, обогнавшие его Чепаловы и Каргин были уже далеко. Крепкая встряска моментально протрезвила Платона. Он потер ушибленное колено, кряхтя залез в кошеву и поехал шагом.

Заливистым лаем оповестили поселок собаки о приближении свадьбы, едва она вымахнула из-за речки. В чепаловской ограде народ прижался к заплотам, чтобы не попасть под копыта коней. Скоро донеслась с Подгорной улицы бешеная скороговорка колокольцев. Первой влетела в ограду вороная тройка с белоногим рысаком в кореню. В воротах отвод кошевы задел за столб и с треском переломился. Толпа испуганно ахнула и замерла. Не успел Каргин вылезти из кошевы, как нагрянули и молодые, которых вез Никифор.

У крыльца живо разостлали туркменский ковер. На нем, дожидаясь молодых, стали с ковригой на блюде принаряженные купец Чепалов с женой. Только тронулись молодые от кошевы к ним, как со всех сторон их стали забрасывать хлебом, норовя ударять как можно больнее. Алешка закрывался руками, прятал лицо в воротник лисьей шубы. Но Дашутка с нарумяненными холодком щеками прямо несла свою гордую голову, терпеливо снося садкие укусы зерен, сыпавшихся на нее со всех сторон.

Платон Волокитин услужливо сунул ей в руки носовой платок и зычно крикнул:

— Эй, публика… Полегче малость, полегче…

Молодые подошли к ковру, встали на колени и трижды поклонились в ноги купцу с купчихой. После этого тысяцкий и сваха помогли им подняться на ноги, а купец перекрестил троекратно их головы ковригой и дал откусить от нее сначала Алешке, а затем Дашутке. Толпа, затаив дыхание, наблюдала, кто из них откусит больше. Больше откусила Дашутка. По толпе от края до края прокатился восхищенный говорок:

— Вот это кусанула…

— Чуть не полковриги отхватила…

— Зубастая будет баба*,* себя в обиду не даст…

Прячась за спины парней, Роман, не отрываясь, глядел на Дашутку. Вся жизнь его была в ней, только ее одну он и видел в праздной толпе, надвинувшейся со всех сторон к крыльцу. Не раз он порывался уйти, чтобы не растравлять себя напрасно. Но уйти не мог. С мучительным любопытством смотрел он и не мог наглядеться на зарумяненное морозом лицо, на крепко сжатые, чуточку пухлые губы Дашутки. «Гляди вот теперь да кайся», — без конца попрекал он самого себя и находил в этом жестокое, одному ему понятное удовлетворение. Но, терзаясь, он втайне все еще надеялся на какое-то чудо, которое вернет ему Дашутку.

Встретив и благословив молодых, Чепаловы повели их в дом. Следом за ними хлынула и толпа, в которой замешался Роман, низко надвинувший на лоб папаху с алым верхом. В большом чепаловском зале были набраны свадебные столы, покрытые белоснежными махровыми скатертями. Столы ломились от всевозможных вин и закусок. Но ропот удивления вызвал огромный осетр, дымившийся на кургане залитого сливками риса. Был длиною он чуть ли не в сажень. Толпа при виде его невольно ахнула.

Молодых усадили за стол. Рядом с Алешкой грузно опустился на стул Платон Волокитин, а возле Дашутки, на голове которой лежала тяжелая гроздь восковых цветов, уселась Анна Васильевна. Купец Чепалов первую рюмку подал тысяцкому, вторую — свахе, а потом принялся обносить вином поезжан. Когда перед каждым из гостей стояло по рюмке, Платон поднялся и крикнул во всю глотку:

— Горько!

Это значило, что молодые должны посластить вино поцелуями. Алешка и Дашутка вспыхнули, неловко встали и неловко поцеловались.

— Мало! — закричал Елисей Каргин. — Еще раз горько!

— Горько, горько!.. — дружно поддержали его поезжане.

И снова начали целоваться Алешка с Дашуткой, каждым своим поцелуем втыкая в Романа острый нож. Только тут он отчетливо понял, что Дашутка потеряна окончательно и бесповоротно. Никакого чуда ждать больше нечего. Не в силах оставаться в зале, он начал проталкиваться к выходу. У порога остановился, оглянулся и увидел, что Дашутка заметила его. Он насилу удержался, чтобы не крикнуть ей «прощай», но в его взгляде, в выражении лица было столько муки, что Дашутка поняла его без слов.

У ворот Романа догнал Данилка и, широко оскалив зубы, весело спросил:

— Чего ты такой квёлый?

— Ничего, так, — выдавил Роман. — Пойдем, что ли?

— Да нам, однако, не по дороге. Я ведь на майдан к картежникам.

— Ну, тогда мы не попутчики, я домой…

Мимо них прошли девки. Пронзительно и весело они пели частушку, каждое слово которой ранило Романа:

Я теперя не твоя,  
Не зови милашкой.  
Ты меня не завлекай  
Аленькой рубашкой.

«Обо мне, это обо мне», — горько думал Роман.

Данилка увязался за девками.

Едва Роман остался один, как распаленное воображение ясно нарисовало ему все, что должно было случиться с Дашуткой в эту ночь. И такая гнетущая тяжесть навалилась на него, так невыносима была эта мысль, что он упал на чью-то завалинку и глухо зарыдал.

Вернувшись домой, он, не раздеваясь, прилег на постель. Но сон не шел к нему. Далеко за полночь он встал и вышел из дому.

Полный месяц стоял высоко в студеном небе. В ограде тускло искрился истоптанный снег, лежали короткие синие тени. В садике, на осыпанных кухтой елках, беспрерывно гасли и вспыхивали холодные крошечные огоньки. Роман пошел к садику, точно его кто-то вел туда за руку. Ему захотелось почему-то взглянуть на куст черемухи, который посадил он весной после первого объяснения с Дашуткой. Кустик стоял в тени у заплота. Только на одной его ветке, протянутой навстречу Роману, нестерпимо сверкали серебряные звездочки, переливался голубой огонь. Роман осторожно дотронулся пальцами до хрупкой ветки и с горечью подумал: «Никогда Дашутка не узнает, что я думал, когда садил тебя. Расцветешь, а Дашутка не моя и не будет моей». Он нагнулся как можно ниже и ясно ощутил исходящий от ветки тонкий, крепкий запах молодой коры и снега. И невольно подумал, что мог бы сейчас стоять здесь вместе с Дашуткой. От этого у него закружилась голова, заныло в груди. Прикоснувшись губами к ветке, он распрямился, еще раз оглядел весь садик и, не зная зачем, побрел к сараю. На крылечке сарая стояла на днях сплетенная им из таловых прутьев ловушка на куропаток. Он собирался ее поставить в полынь у Озерной сопки, где зимовало множество куропаток. «Вот и ловушку сплел, а зачем мне теперь куропатки, когда нет Дашутки», — снова подумал он с сожалением. В это время из-за Драгоценки с далеких степных увалов донесся надрывный волчий вой. Роман прислушался и решил, что волки воют к бурану. Тут вспомнилось ему, что скоро будет в поселке зимняя облава на волков, к которой давно готовятся казаки. У них уже было уговорено с Данилкой, что на этот раз они придут на облаву с берданками и попросятся у атамана в стрелки. Каждый из них надеялся уложить самого большого волка, чтоб не звали их больше старики молокососами, умеющими только горох воровать. И так раньше хотелось Роману побывать на облаве, что он ждал и не мог дождаться этого дня. Но теперь все это стало неинтересным. Он присел на амбарное крыльцо и стал глядеть на ясное, гуще засиневшее перед рассветом небо.

На душе было пусто и одиноко.

Разъезды Второго Аргунского полка беспокоили противника у станции Шарасун. Группами в десять — пятнадцать всадников ежедневно появлялись они на сопках к востоку от станции. Стоило им приблизиться к железной дороге, как стоявший в Шарасуне бронепоезд открывал по ним орудийный огонь. Бронепоезд был пестро раскрашен, и казаки окрестили его «пегашкой». Заставить «пегашку» выбросить на ветер пару-другую шимоз вошло у них в привычку. О людях, которые выезжали на эту рискованную забаву, много говорили, с них брали пример. Поэтому охотники поиграть со смертью находились всегда.

Давно уже тянуло к этой забаве и Романа Улыбина.

Федот Муратов, который не ужился с моряками и недавно прикатил в сотню к своим землякам, чуть не каждый день приглашал его «подразнить» бронепоезд.

Федот уже побывал в передряге. Посланный однажды в головной дозор, далеко оторвался он от своих. Километра за три от Шарасуна накрыл его «пегашка» со второго выстрела. Сам он отделался ушибом, но конь под ним был тяжело ранен. Человек десять семеновцев помчались ловить Федота. Федот снял с коня седло, взвалил его на спину и побежал к своим, маячившим на дальнем увале. Но бронепоезд засыпал красногвардейцев шрапнелями, и они поспешили скрыться. Когда Федот выбежал на увал, их и след простыл, а семеновцы настигали. Федот яростно выругался, залег за песчаным холмиком тарбаганьей норы и стал отстреливаться. На свое счастье, свалил он с коня офицера, который командовал семеновцами. Не подобрав офицера, они ускакали назад.

За увалом шла дорога на Абагайтуевский караул. Изредка по дороге проносились красногвардейские грузовики в расположение Коп-Зор-Газа. Один вооруженный пулеметом грузовик появился в тот момент, когда Федот вышел на дорогу с седлом за спиной. Вечером он очутился на биваке Коп-Зор-Газа за двести верст от своего полка. В полку уже считали его погибшим, когда через четыре дня он неожиданно заявился не только живой, здоровый, но и с изрядным запасом китайского спирта в банчках.

Завидев банчки, казаки закрутили усами и оказали Федоту необыкновенно любезный прием. Здороваясь, величали его по имени-отчеству и старались не отлучаться, чтобы не прозевать угощение. Скоро банчки были раскупорены. Объявились услужливые помощники, которые осторожно переливали спирт в большой медный котел и разбавляли водой. Федот лежал на кошме и, дымя сигаретой, отдавал распоряжения. Первую кружку он поднес Тимофею Косых:

— Давай, командир, покажи, как пить следует…

Но в эту минуту в степи раздался незнакомый для многих звук. Он походил на протяжное коровье мычание. Федот прислушался и закричал:

— Ребята, а ведь это Лазо к нам катит!..

Через минуту на ближайшем бугре появился знакомый «Чандлер». Все кинулись встречать его. Впереди бежал и размахивал фуражкой Федот.

С Лазо приехал и Василий Андреевич. К нему начали подходить желающие поздороваться земляки. Одним он крепко пожимал руки, с другими обнимался. Возле него стоял Федот и называл ему по фамилии тех, кого Василий Андреевич не мог узнать. Подошли к нему и Алешка Чепалов с Петькой Кустовым. «Ага, — злорадно подумал Роман, — заюлили перед землячком, не побрезговали, что каторжанином он был. То-то!» — и сердце его переполнилось гордостью за Василия Андреевича.

Скоро Роман подошел к Лазо, щелкнул каблуками и, взяв руку под козырек, поздоровался с ним.

— Здравствуй, здравствуй, Роман, — подал ему руку Лазо. — Что же ты дядю не встречаешь?

— Да ведь к нему сейчас не протолкнешься… А вы надолго к нам?

— Думаю, что заночуем у вас. Надо как следует с вашим полком познакомиться, рассказать ребятам, как и что у нас. — В это время к ним подошли Василий Андреевич и Федот. Узнав Федота, Лазо спросил его:

— А ты, Муратов, как здесь оказался?

— Решил поближе к своим держаться. Человек я сухопутный.

— Сухопутный-то сухопутный, а сюда, кажется, заливать любишь, — щелкнул Лазо пальцем по шее. — Слышал я, что тебе у моряков дисциплина не понравилась.

— Это враки, — ответил, краснея, Федот и поспешил убраться. Когда Лазо и Василий Андреевич зашли в палатку Филинова, Тимофей подозвал к себе Федота с Романом.

— Надо, ребята, того… ужин сварганить получше. Гости-то у нас вон какие. Ведь Василия Андреевича пятнадцать лет мы не видели.

— Это можно, — сказал Федот. — Надо барана добывать. Разреши мне отлучиться на часок, да коня твоего дай мне заседлать.

Тимофей разрешил, и через каких-нибудь десять минут Роман и Федот скакали степью на север. Ехали они к бурятам, которые кочевали со скотом в соседней долине. Подъехав к бурятским юртам, Федот, не слезая с коня, закричал:

— Эй, хозяева!

Из ближней юрты вылез седой бурят в синем засаленном тарлике, с трубкой в зубах. Следом за ним появилась старуха и краснощекая, пышущая здоровьем девушка. Девушка была в черной конусообразной шапочке с красной кисточкой на макушке. В ушах ее красовались золотые серьги, на груди переливчато сверкали разноцветные шарики бус. Увидев ее, Федот приосанился, почтительно обратился к старому буряту с просьбой продать барана.

— Пошто не продать, продать можно. Только, однако, деньги у тебя худые, парень.

— Отчего же худые? Деньги у меня на любой вкус имеются. Есть царские, керенские, читинские, — и Федот извлек из полевой сумки порядочную пачку денег. — Выбирай, какие нравятся.

— Давай, однако, керенские. Только не знаю, сколько и взять с тебя. Двести рублей, не дорого ли?

— Оно и дороговато, да уж ради знакомства так и быть, заплачу двести. Звать-то тебя как?

— Меня-то? Цыремпилом.

— А по отчеству?

— Папа Бадмай был.

— Ага, значит, Бадмаевич… Ну, так будем знакомы, Цыремпил Бадмаевич! Свободное время будет — в гости приеду.

— Приезжай. Тарасун пить будем.

Старик получил деньги и приказал девушке поехать с Федотом и Романом в гурт за барашком. По дороге в табун Федот все время приставал к ней с разговорами и пытался ущипнуть ее. Девушка била его по рукам ременной плеткой и смеялась. Табун пасла тоже девушка — сестра первой. Когда поймали барашка, Федот распрощался с сестрами за руку и пообещал обязательно наведаться к ним в гости. На обратном пути он сказал Роману:

— Девки, паря, что надо! К которой-нибудь из них я обязательно подсватаюсь.

**VII**

После совещания с командирами Лазо и Василий Андреевич выступили перед казаками. Лазо на этот раз говорил особенно хорошо. Целый час с увлечением слушали его аргунцы. Рассказывал он о создавшейся на Дальнем Востоке обстановке и о положении на фронте. Необычайной силой веяло от его стройной фигуры, когда стоял он на заменявшей трибуну двуколке и, порывисто жестикулируя, бросал зажигающие слова. Наиболее серьезные станичники шептали друг другу: «Голова!» И когда Лазо закончил речь, они долго и шумно аплодировали ему. Потом стали требовать, чтобы выступил Василий Андреевич. Каждому из них было интересно послушать, что скажет им свой брат казак, пробывший столько лет на каторге и в ссылке:

— Просим! Про-о-сим!.. — горланили они до тех пор, пока он не очутился на двуколке.

— Товарищи! Земляки мои дорогие! — обратился к ним Василий Андреевич. — Долго говорить я не могу и не буду. Почти все, что я хотел бы сказать вам, сказано гораздо лучше товарищем Лазо. Скажу я только одно. Ононский кулак Семенов надеялся, что он подымет забайкальское казачество против Советской власти. Но он просчитался. К нему примкнули только караульские богатеи, из которых с грехом пополам сколотил он два отряда четырехсотенного состава. Вы же, цвет трудового населения наших станиц, дружно поднялись на него вместе с рабочими и крестьянами. И я говорю вам от всей души: правильный выбор сделали вы, товарищи! Ваш путь к лучшей доле вместе с народом, с большевиками, а не с жалкой кучкой офицерни и кулачья. Не слушайте шептунов и атамановских подпевал, затесавшихся в ваши ряды. Скоро начнутся решающие бои. В этих боях вы должны показать себя крепко спаянной и стойкой частью. И если вы разрешите мне сегодня от вашего имени заверить областной ревком и Центросибирь, что вы никому не отдадите завоеваний пролетарской революции, — я сделаю это с величайшей радостью.

— Заверяй, дядя Вас-я-я! Не подкачаем! — первым отозвался Семен Забережный.

— Башку Семенову свернем, — дружно поддержали Забережного бывшие фронтовики, а за ними весь полк.

После митинга Василий Андреевич подошел к Роману и сказал, что ему нужно поговорить с ним наедине. Они отошли от палаток в степь и сели на песчаный бугорок у старой тарбаганьей норы. Помолчав, Василий Андреевич спросил:

— Ну, как поживаешь, племяш?

— Ничего, живу помаленьку.

— А как домашние живут? Письма от них получаешь?

— Одно получил недавно. Хвастается отец, что пофартило там ему. Хунхузов они ездили бить на китайскую сторону и поживились на этом деле.

— Вот как, — нахмурился Василий Андреевич. — С кем же это они там отличились?

— Об этом он не пишет. Пишет только, как дело было. Хунхузы косяк угнали с нашего выгона, а они кинулись за ними вдогонку и прижучили где-то на Хауле.

— Так, так… А как же ты на все это дело смотришь? — испытующе уставился Василий Андреевич на Романа.

— Проучить хунхузов следовало. Худого я тут не вижу. Только вот если отец взаправду здорово поживился, — тогда плохо.

— А что же тут плохого? Он тогда тебя на самой богатой невесте женит, — с лукавыми искорками в глазах сказал Василий Андреевич.

— На богатых невест меня не позывает, я не жадный. Можешь меня не пытать. Я о другом думаю. Боюсь, что отец теперь нас с тобой совсем понимать перестанет. Слова богачей для него понятнее наших будут. Отец-то и так переменился, когда нынче весной мунгаловцы часть земли мостовцам отдали. До этого он против казачества был и все с дедом спорил. А теперь, гляди, тоже бьет себя в грудь и говорит: «Были казаки и помрем ими».

— Вон ты куда заглядываешь! — без тени прежней иронии сказал Василий Андреевич. — Тревога у тебя разумная. Хорошо бы мне потолковать с твоим отцом вечерок-другой. Но раз на это пока нечего и надеяться, давай тогда ему письмо накатаем. Согласен, что ли?

— Ясно, что согласен. Уж если кого отец послушается, так это одного тебя.

— Ну, значит, договорились…

Тяжелый приступ кашля не дал Василию Андреевичу продолжать дальше. Он схватился левой рукой за грудь, а правой стал судорожно шарить в кармане синих галифе. Вытащив из кармана платок с голубенькой каемкой, он прижал его к губам. Кашлял он очень долго, и Роман видел, как от напряжения набухли и побагровели мышцы его шеи и слезы выступили из глаз. У Романа защемило сердце. Но Василий Андреевич как ни в чем не бывало разгладил усы и улыбнулся.

— Ну, ладно, поговорили мы с тобой вдоволь. Слова ты мои на всякий случай запомни. А сейчас сбегай к моему адъютанту, возьми у него бумаги, и настрочим мы твоему батьке письмо. Не будет откладывать этого дела.

Роман вскочил и, весело, по-мальчишески размахивая руками, побежал к биваку. Василий Андреевич глядел ему вслед и продолжал улыбаться, мысленно повторял:

«Ромка, Ромка! Племяш ты мой милый, славный казак из тебя вымахал. Приятно поглядеть на тебя».

Боль у него в груди утихла, и он сначала осторожно, точно прислушиваясь к чему-то внутри себя, а потом всей грудью вдохнул чистый степной воздух.

**VIII гражданская война**

Через сутки полк вышел к железной дороге между Шарасуном и Мациевской. Ему было приказано усиленными поисками разведывательных групп в тылу противника держать его в постоянном напряжении. Сделав в грозовую июльскую ночь тридцативерстный переход, четыре сотни полка подошли на рассвете к линии и разобрали в нескольких местах железнодорожное полотно, срубили десятка два телеграфных столбов.

На солнцевсходе полк был атакован сразу с двух сторон. От Мациевской наступала на него пехота при поддержке двух бронепоездов, от Шарасуна — бронепоезд и крупная кавалерийская часть. Под огнем бронепоездов сотни рассыпались и в беспорядке отошли к востоку, за песчаные увалы, потеряв убитыми и ранеными семь человек.

В этом бою Роман спас от смерти бывшего чепаловского работника Юду Дюкова. Посланные для связи с соседней сотней, нарвались Роман и Юда за одним из увалов на японскую полуроту, только что развернутую в цепь. Круто повернув лошадей, поскакали они назад, подгоняемые свистом пуль. И вдруг Роман услыхал душераздирающий крик Юды. Он обернулся. Юда, сильно хромая, бежал по степи, потеряв коня, а его настигали маленькие проворные люди со штыками наперевес. Не раздумывая, повернул Роман коня навстречу Юде. Ему было жутко, но он не мог поступить иначе. Этого требовала его совесть. Приземистые люди в мундирах цвета хаки были совсем недалеко, когда схватил он Юду за руку и посадил впереди себя. Японцы торопливо били по нему из винтовок.

Ускакав за ближайший увал, Роман перевязал как умел раненую ногу Юды и привез его на бивак полка. У палаток четвертой сотни они увидели большую толпу казаков. В толпе стоял и о чем-то возбужденно рассказывал Семен Забережный. Подъехав поближе, они услыхали, как Семен говорил, жестикулируя обеими руками:

— Я давно сметил, что тут дело неладно. Отстают они от нас и отстают. А как приотстали порядком, так сразу нацепили на винтовки белые платки и полетели навстречу семеновцам. Выругался я тогда, сорвал с плеча карабин и начал по ним стрелять. Алешку Чепалова с третьего выстрела наповал срезал, а в Петьку никак не мог потрафить.

И Роман и Юда были ошеломлены рассказом Семена, но отнеслись к нему каждый по-своему. Роман высказал свои чувства двумя словами:

— Вот гады!

Но Юда пришел в необычайное возбуждение. Он то бледнел, то краснел и все порывался что-то сказать Роману, когда тот укладывал его в палатке на постель. Но им помешали. Романа потребовал к себе командир полка, а Юдиной ногой занялся прибежавший из полкового околотка Бянкин.

Вечером Роман снова зашел в палатку к Юде. Увидев его, Юда болезненно скривился, тяжело задышал. У его изголовья стоял котелок с холодным чаем. Юда приподнялся, схватил котелок и жадно припал к нему спекшимися губами. Удивляясь его волнению, Роман участливо спросил:

— Как твои дела?

Юда беспокойно заворочался на постели. Алые отблески бивачных костров, проходя сквозь парусину палатки, освещали его воспаленное лицо. Роман пригляделся и увидел, что он весь в поту. «Тяжело парню», — сочувственно подумал он. Юда с трудом проглотил слюну и, глядя на него горячечными глазами, сокрушенно сказал:

— Эх, Ромка… Хороший ты товарищ, а спасал меня зря…

— Вот тебе раз! А ты разве не так же поступил бы на моем месте? Ведь мы с тобой посёльщики.

Юда все тем же взволнованным голосом загадочно бросил:

— Ничего ты не знаешь, паря…

Слова Юды показались Роману чудачеством. Он рассмеялся. Смех его привел Юду в еще большее возбуждение..

— Смеешься, а не ведаешь… Я перед тобой смертным грехом виноват. Гадина я, не человек! — вдруг страшным голосом закричал Юда и начал рвать на себе волосы. — Ты… Ты на смерть пошел, чтобы спасти меня, а я… я… — и Юда судорожно зарыдал. Роман пытался его успокоить, но безуспешно. Юда отстранил его руку, овладел собой и твердо сказал:

— Долго я, Ромка, таился. А теперь не могу… Ты знаешь, кто стрелял в тебя на заимке?

— Знал, так бы душу из него вытряс.

— Ну, так вытрясай ее, подлую… Я это стрелял, я… Купил меня Алешка за лаковые сапоги.

Роман отшатнулся от него потрясенный. Теперь ему стало понятно загадочное поведение Юды. В раненом плече почувствовал он тупую саднящую боль. Ему захотелось ударить Юду, схватить его за горло и бить, бить головой о землю. Большим напряжением воли удержал себя от этого и сказал с отвращением:

— Никак не думал, что ты такая сволочь.

Юда словно обрадовался его словам. Хрипя и задыхаясь, он закричал:

— Убей меня, расшиби мою подлую голову!.. Не могу я глядеть на тебя. Все нутро у меня переворачивается.

Роман поглядел на его искривленное мукой лицо, на корявые работницкие руки, и ему стало жалко его. Он нашел в себе силы, чтобы сказать:

— Ладно… что прошло, того не воротишь. Спасибо, что хоть совсем не угробил… Вижу я, как совесть тебя мучает. Теперь небось таким дураком не будешь.

— Да расшиби меня громом… — Голос Юды рвался, в глазах блестели слезы. Роман протянул ему руку.

— Вот тебе мои пять… давай забудем, что было, и никому ни слова. Не хочу, чтобы люди тебя чурались.

Юда не взял его протянутой руки, но припал головой к нему и заплакал, как ребенок.

— Спасибо, Ромка, спасибо… Понял ты меня, никогда я, паря, этого не забуду. На муки пойду, на смерть, а не забуду, — и, взяв его руку, сдавил ее своими шершавыми ладонями.